

Глеб Шумиляков

## МОРЕ ЗЛА

Константин Батюшков и Москва 1812 года.  
Послание «К Дашкову»

О том, что к лету 1812 года начнется война, новоиспеченный библиотечарь Константин Батюшков не мог не думать — еще в марте Семеновский полк, в котором служили оба сына Алексея Оленина, директора библиотеки, выдвинулся из Петербурга на западную границу. Однако ни Батюшков, ни вообще кто-либо в России — не мог предугадать масштаба бедствия. Как и советские обыватели в 1941-м, они полагали, что дело, чем бы оно ни кончилось, закончится на границе и не коснется обитателей внутренней империи. То, что будет сдан Витебск, Смоленск, а потом и Москва, что угроза оккупации нависнет над Петербургом — невозможно было помыслить.

Жизнь в столицах шла в балах и выездах; послы еще не были отозваны, а поэты спешили заготовить оды на скорую победу, в которой никто не сомневался; в депо манускриптов как прежде работали библиотекари, а сердце Оленина еще не было разбито гибелью сына; французская актриса Жорж как ни в чем не бывало гастролировала в столице; правда, залы на ее представлениях заполнялись все хуже; в патриотическом экстазе многие петербуржцы отказывались от «всего французского».

Однако уже в июле 1812 года, когда корпуса Макдональда и Удино начинают продвижение на север — над Петербургом нависает реальная угроза. Александр решает эвакуировать город. Среди архивов и памятников к спасению предназначается и Публичная библиотека. Почти весь свой короткий срок в должности библиотечаря Батюшков проведет не за разбором единиц хранения — как должен был — а за укладкой рукописей в ящики, которые в скором времени отправятся по Ладоге в Петрозаводск.

Между тем Наполеон продолжает преследовать русскую армию к Москве. Август, Батюшков берет в библиотеке отпуск. Его

призывает в Москву тетка — Екатерина Федоровна, вдова поэта и сенатора Михаила Никитича Муравьева. Она уже продала дом на Малой Никитской и теперь живет на даче в Филях — в ожидании племянника, который поможет ей перебраться в Петербург. Как бы ни повернулись события, оставаться в Москве ввиду неприятеля небезопасно, считает она. Екатерина Федоровна болеет и не в состоянии справиться в одиночку ни с переездом, ни с сыновьями, один из которых, будущий декабрист Никита, уже пытался бежать на фронт. Из двух обязанностей, отдать долг Отечеству или спасти родственников, Батюшков выбирает второе. Тем более, что и война завтра не заканчивается. «Еще раз пожалейте обо мне, — пишет он Дмитрию Дашкову 9 августа, — я увижу и Каченовского, и Мерзлякова, и весь Парнас, весь сумасшедших дом...» «Я очень скучаю здесь, — добавляет он, — и надеюсь только на войну: она рассеет мою скуку, ибо шпага победит тогу, и я надену мундир, и я поспешу маршировать, если... если... будет возможно».

Когда Батюшков приезжает в Москву, его друзей уже нет в городе. Жуковский зачислен поручиком в первый пехотный полк и несколько дней как отбыл под Бородино. Уехал из Москвы и Вяземский, записанный в состав конного ополченного полка. А куда податься семейству Муравьевых? Ввиду неприятеля под Москвой и угрозы на северном направлении — и в Москве оставаться, и возвращаться в Петербург опасно. Как и большинство москвичей, Батюшков и муравьевское семейство отправляются из Москвы в Нижний Новгород — буквально накануне сдачи города.

Еще один москвич, Карамзин, живет в эти дни у Ростопчина. По воспоминаниям Вяземского, он уверен, что Москву сдадут без боя. С самого начала войны историк настроен пессимистически. Эту войну не следовало начинать вовсе, считает он. Россия к ней была не готова. Слишком явный перевес силы у Франции. Мы обречены на проигрыш. Рационально рассуждая, так оно и должно было быть — и в 1812-м, и в 1941-м; но русская жизнь часто зависит от случая; ее бардак и несогласованность, ее *незаконность* — оставляют большой зазор для непредвиденных ситуаций, и кампания 1812 года тому лучшее подтверждение; сколько раз за лето и осень именно *кривая* вывозила русских из безнадежных, казалось бы, ситуаций. Случайность, или «*инкогнито Провидения*», как го-

ворил Дмитрий Блудов. Но как Провидение реализует себя? Бог помогает правым, гласит поговорка. В том, что в войне 1812 года правда была на стороне русских — никто не сомневался.

Через две недели после Бородинского сражения Батюшков пишет сестре Елизавете из Владимира: «Оленина старший сын убит одним ядром вместе с Татищевым. Меньшой Оленин так ранен, что мы отчаиваемся до сих пор».

«Сколько слез!» — горестно восклицает он.

(Заметим в сторону, что представить сегодня высокопоставленного чиновника, каким был Оленин, который отправил бы на передовую собственного ребенка — невозможно, а тогда же это было делом чести).

...Нижний Новгород в то время напоминает Ноев ковчег — беженцы из Москвы теснятся в съемных домах и квартирах. Батюшков вынужден делить комнату с Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом. Он — того же корня Муравьевых, что и дядя Батюшкова — Михаил Никитич — и приходится Батюшкову дальним родственником из старшего, екатерининского поколения. Муравьев-Апостол — убежденный противник всего французского и даже задумывает в Нижнем цикл посланий («Письма из Москвы в Нижний Новгород»), где бы развенчивались национальный французский характер и культура. Об «отмене культуры» с ним до хрипоты спорит поэт Василий Львович Пушкин. В эвакуации, на фоне пожара Москвы — он рискует отстаивать ценности французской культуры. При том что беженцы и говорят по-французски, и едят французское, и читают французское, и французское танцуют; русские всегда назначают главным врагом того, от кого больше всего зависят. Однако риторика Муравьева настолько гипнотически действует на Батюшкова, что и в своих собственных письмах он часто говорит как бы со слов старшего товарища. Яркий литературный язык и взволнованный ход мысли Ивана Матвеевича, действительно, производят впечатление. Иногда он как будто прозревает страшную работу безликих военных машин XX века. «В руках его, — пишет он про Наполеона, — война сделалась промышленностью. Тут никакая страсть не действует; итальянец, вестфалец, виртимбергец приведены за несколько тысяч верст от домов своих, чтобы умереть на Бородинском поле: потому ли, что они были движимы мщением и ненавистью противу России? Ничего не

бывало! — Все дело обстоит в том, что Наполеон, фабрикант мертвых тел, имеющий ежемесячный расход свой по 25 тысяч французских и союзничьих трупов, захотел сделать мануфактурный опыт и из одного узнать, сколько именно русских трупов и во сколько времени он произвести сможет посредством полумиллионной махины своей... Бедное человечество!»

Лежа на соседней кровати, Батюшков часто выслушивает монологи Ивана Матвеевича, однако на фронт спешит более на словах, чем на деле. Среди своих друзей он один знает, что такое война и что такое армия. После двух военных походов он решил не связывать жизнь с военными. Не с его здоровьем, во всяком случае. Не с его *фортуной*. Решение будет принято, когда он увидит, во что французы превратили Москву. Видение разоренного града будет явлено ему по-библейски: трижды. Именно столько раз он пройдет через разоренный город вместе с Олениным, которого будет сопровождать в скорбной поездке под Можайск к останкам сына.

Эти и другие реалии отразятся в одном из лучших стихотворений о Москве 1812 года — в послании «К Дашкову». Оно будет напечатано в «Санкт-Петербургском вестнике» формально в октябре 1812 года (хотя журнал выйдет лишь в марте 1813-го), что вполне предсказуемо, ведь возглавляет журнал тот, кому это послание адресовано. «Вестник» вообще одним из первых откликнется на военные события осени 1812 года. Послание Батюшкова станет ядром в тематической подборке. Открывает ее стихотворение поэта и драматурга Федора Иванова («На разрушение Москвы»), преисполненное высокопарных и малоталантливых проклятий в адрес злодеев («Вспенный кровью вепрь, бич роковой десницы, / Полсвета воружив и лестью и мечом, / Обильный в хитростях татей, цареубийцы, / Пришел покрыть всю Русь и пеплом и стыдом...») После Батюшкова шел вольный перевод Василия Пушкина («Отрывок из Томсона»), по контрасту с войной воспевающего идеал мирной жизни на лоне природы. А далее — басня «Медведь и два охотника» Александра Измайлова: о том, какой бедой может закончиться для неосторожных охотников дележ шкуры неубитого медведя.

В первой и единственной прижизненной книге Батюшков поместит послание «К Дашкову» в раздел «Элегии». Что объяснимо: ее скорбное, по-бетховенски приподнятое звучание не совместимо

с домашними интонациями письма-послания. Перед нами свидетельство, документ, исповедь. Интересно, что новый карамзинский язык — язык чувства и движений души сентиментального светского человека — оказывается неспособным выразить переживание подобного характера. Помощь приходит к Батюшкову из враждебного лагеря. В «Послании» много шишковской «архаики» — и в словоупотреблении («перси», «сонмы», «рубища»), и в образах, когда плач по утраченной Москве уподобляется библейскому плачу по Иерусалиму.

Это стихотворение встанет отдельно в литературном наследии 1812 года. Батюшков никого напрямую в нем не обвиняет. Ни карикатурных, как у Крылова, ни демонических, как у Державина — образов врага в послании *нет вообще*, и это сразу переводит его из области обличительно-патриотической в экзистенциальную. Как народ Расина и Монтеня оказался на такое способен, как бы спрашивает поэт? Подобный вопрос требует ответа и сегодня, когда мы спрашиваем себя, как подобное совершил народ Баха и Гете, или совершает народ Пушкина и Сергия Радонежского. Катастрофы такого рода — кризис мышления, ибо как жить по разуму, если он порождает чудовищ? Может ли разум, обожествленный просветителями прошлого, быть точкой опоры для самого себя, как бы спрашивает нас История? Не Уроборос ли это, кусающий себя за хвост? Не за прихоть ли Александра, соблазненного идеями французских просветителей и возмечтавшего *разумно* обустроить мир — расплачивалась в 1812 году Россия? И можно ли обвинять *идею* и ее авторов в том, что, примененная к жизни, она обернулась кошмаром? Не одинаково ли в ответе за зло и соблазняющий, и соблазнившийся? Ибо что тогда стоит его вера?

Все это были вопросы, ответа на которые ни у Батюшкова, ни у «бедного человечества» — не было. Ответом на «море зла» для Батюшкова будет отказ от себя прежнего. Молчание — последнее оружие поэта, в России это хорошо известно, особенно сегодня. Вскоре он получит назначение и станет догонять армию, которая уже перешла Неман. Батюшков будет воевать адъютантом генерала Раевского. Битва под Лейпцигом, переход через Рейн, сражения во Франции и взятие Парижа, и возвращение через Лондон и Стокгольм... Почти на два года имя Константина Николаевича исчезает со страниц литературной периодики.

## К ДАШКОВУ

Мой друг! я видел море зла  
И неба мстительного кары:  
Врагов неистовых дела,  
Войну и гибельны пожары.  
Я видел сонмы богачей,  
Бегущих в рубищах издранных,  
Я видел бледных матерей,  
Из милой родины изгнанных!  
Я на распутье видел их,  
Как, к персям чад прижав грудных,  
Они в отчаяньи рыдали  
И с новым трепетом взирали  
На небо рдяное кругом.  
Трикраты с ужасом потом  
Бродил в Москве опустошенной,  
Среди развалин и могил;  
Трикраты прах ее священный  
Слезами скорби омочил.  
И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали  
Останки иноков святых  
И мимо веки протекали,  
Святыни не касаясь их;  
И там, где роскоши рукою,  
Дней мира и трудов плоды,  
Пред златоглавою Москвою  
Воздвиглись храмы и сады, —  
Лишь угли, прах и камней горы,  
Лишь груды тел кругом реки,  
Лишь нищих бледные полки  
Везде мои встречали взоры!..  
А ты, мой друг, товарищ мой,

Велишь мне петь любовь и радость,  
Беспечность, счастье и покой  
И шумную за чашей младость!  
Среди военных непогод,  
При страшном зареве столицы,  
На голос мирных цевницы  
Сзывать пастушек в хоровод!  
Мне петь коварные забавы  
Армид и ветреных цирцей  
Среди могил моих друзей,  
Утраченных на поле славы!..  
Нет, нет! талант погибни мой  
И лира, дружбе драгоценна,  
Когда ты будешь мной забвенна,  
Москва, отчизны край златой!  
Нет, нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизнь, и к родине любовь;  
Пока с израненным героем,  
Кому известен к славе путь,  
Три раза не поставлю грудь  
Перед врагов сомкнутым строем, —  
Мой друг, дотоле будут мне  
Все чужды музы и хариты,  
Венки, рукой любви свиты,  
И радость шумная в вине!

